

Михаил КОВСАН

СКУПОЙ РЫЦАРЬ

Чего мне не хватает? Меня самого мне не хватает
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей)

*Вчера утром в своей квартире соседями был обнаружен
известный коллекционер без признаков жизни.
Вызванные медики констатировали смерть, наступившую от удушья.
Полиция приступила к следственным действиям
(Из единственной газеты, ещё издающейся в городе)*

Он никогда их не видел, в толпе не различал, но всегда чувствовал их потный азарт: догнать, схватить, разорвать. Он сам был для них главным трофеем, коллекция прилагалась, как к нобелевке миллион. Но время его и их азартного пота прошло, сгнуло вместе с теми прежними, от которых мало кто и остался, подобно ему среди дорогих сердцу, но слишком привычных и часто пылью покрытых вещей доживающий. Вот и он доживал, вещам своим липко завидуя: переживут, в гроб не положится, тем более что не сам же себя в него покойник укладывает, приговаривая: «Покойся, милый прах, до радостного утра!» — или, может, что-нибудь из других четырёх вариантов, которые в пользу этого отвергла печальная мать, по чьей просьбе и сочинил Николай Михайлович не подлежащие забвению строки. В конце концов, что нашептать ему в гроб, тоже не он выбирает. Получается, не только при жизни, однако, и после человек волен мало над чем. Грустные мысли, однако. Какие уж есть — сам себе осторожно съехидничал. От таких мыслей хорошо научиться бы избавляться. А лучше всего от мыслей любых и навсегда — не мог не добавить, градус ехидства по привычке чуть-чуть повышая. Внутри него мелодия всегда уходила всё выше и выше, пока не обрывалась крещендо, если только визги ребятни и бабья с улицы в открытое летнее окно не врываются, все мелодии изгоняя, порою надолго. Только одна мысль и оставалась: убраться отсюда подальше, от этой вечной очереди, с утра до вечера облепляющей продуктовый, на первом этаже оборудованный вместо прекрасно спокойного книжного, бытовавшего здесь с времён незапамятных, когда ещё свой век доживали помнившие, что дом этот возвели на месте кладбища, временем разорённого, людьми позабытого. Он не помнил появления книжного: когда родился на втором этаже, на первом он уже был. Но книги людей интересовали перестали, давно можно купить, что пожелаешь, вот теперь здесь продуктовый: кушать хочется всем и всегда, особенно по сниженным ценам, чем магазин под ним очень гордился и чем громко себя рекламировал, неведомые в других местах очереди собирая. Правда, и вокруг книжного, бывало, очереди обвивались. Но крайне редко: когда устраивали подписку на ПСС, полные собрания сочинений, которые, как пушкинское, были полными не до конца, из-за зазорности или несоответствия времени отдельных текстов, которые туда не включались. Так что лучше было бы их называть ППСС (почти полные, дальше по тексту), но эти изыски мало кому были понятны. Здесь же, на первом этаже, в букинистическом отделе он по благу добыл десять синих томиков Пушкина со старорежимной ниткой-закладкой. В седьмом — «Скупой рыцарь», долго до которого добирался: читал по порядку, а прочитав, ещё много лет соображал, что рыцарь скупым быть не может. Если рыцарь, то не скупой. Скупой — значит, не рыцарь.

*Кто знает, сколько горьких воздержаний,
Обузанных страстей, тяжёлых дум,
Дневных забот, ночей бессонных мне
Всё это стоило?*

Действительно, сколько? Не сосчитать. Лучше бы подольше соображал, ведь, сообразив, понял вдруг и внезапно, что жизнь, отданная коллекции, улетела в тартарары, что, кроме неё, у него есть семья: жена, с которой в разводе, хотя не формально и в одной квартире живут, сын и дочь — дети, с которыми видится редко, разговаривает — реже ещё, толком — ни о чём, никогда. Не слишком прощаясь, дети из гнезда улетели, а они с женой бывшей-и-нынешней продолжили житьё-бытьё теперь уже над продуктовым: она в одной комнате, он с коллекцией теперь попросторней в двух смежных. Перемещение заняло много времени и, разумеется, отняло много сил. Вначале агрессивное вдохновение, потный азарт вели к намеченной цели, но под конец еле добил, после чего оказалось: как не было места в одной ему и коллекции, так нет его в двух. Как что-то или кто-то был лишним раньше, так и теперь ничего не изменилось. Встретившись как-то на кухне с женой, он ей пожаловался на это, она посочувствовала, предложив тарелку борща, который, он помнил, прекрасно готовила. Поблагодарил и отказался, направившись покопаться на полках холодильника, числившихся за ним. Что-то выудил и поел. Борщ его, однако, смутил.

Мысли были такие, что, наскоро пожевав, он с кофе, по счастью на плиту не сбежавшим, прислонился к стеклу, выглядывая, что в мире творится, вместо обыкновенного при приluste мыслей — за стол и работать, что-нибудь механическое, отвлекающее, каталожное лучше всего. Но кофе выпит, а за стол он не сел. Это было ужасно. Тогда и почувствовал, как коллекция из жизни его вытесняет. Последнее время она не росла, средств не было, а прежний потный азарт купи-продай и снова купи улетучился, оставив по себе воспоминания смутные, не то чтобы очень приятные, но всё же душу иногда согревали: всё равно, больше ведь нечему. После того, как жена вместе с детьми уехали из страны, скупко с ним попрощавшись, в его распоряжении оказались впервые в жизни его и коллекции целые три комнаты. Из комнаты жены всю мебель он выбросил, так что теперь его были кровать, шкаф и письменный стол, остальное — коллекция и книги, помогавшие в собранном разобраться, что порой было непросто, на что уходили дни, месяцы, годы жизни его и коллекции: одно помогало другое понять, одна вещь рассказывала о другой. После отъезда и расширения всё время он проводил на втором этаже, изредка спускаясь купить что-нибудь из еды. Ходил не в магазин, что под ним: там очереди были всегда, а в другой подороже, подалее, но людей там было немного, и он быстро на неделю продуктами запасался. Заплатил — и назад, за собой грохочущую на колёсиках сумку таща. Одно колесо всё время в сторону норовило, сумку приходилось направлять заново, что отвлекало, когда от мыслей дурных — хорошо, но не всегда же были дурные. Дом, город, страна к нему как-то привыкли, хотя раньше всё было не так, даже очень не так, привыкли — не трогали. Когда было не так, приходилось не только лукавить, это бы ладно, но частенько и что-то припрятывать и от конкурентов, готовых на многое, и от милиции, готовой на всё. Приходили, смотрели, но аккуратно, пару раз вызывали беседовать: что да откуда. К каждому предмету прилагалась легенда, выглядывшая в его отретепетированных устах правдоподобно, плод фантазии отнюдь не безудержной, напротив, очень земной, чтобы и лейтенанту было понятно. Порой думалось, не записать ли всё да издать? Но то, что устно получалось прекрасно, на бумаге выходило косноязычно. Собирать он умел. А писать — бог не дал. Получалось длинно, витиевато — сплошная претензия. Два таланта в одной голове — это редкость. На том успокоился. По утрам коллекцию метёлочкой обихаживал, время от времени гомону очереди открывая окно и пыль стряхивая на неё. Затем — бесконечное таинство каталога: изменения, уточнения, ссылки. После кофе — с тем, что случится, почта, всё время редующая, изучение родственных каталогов. После обеда до ужина — то же, а после ужина до изнеможения всё снова, опять. Ни на что больше жизни его не хватало: ни на мысли, ни на прогулки, в последнее время даже на книги — каталоги не в счёт, это святое. Слава богу, что не хватало, а то мысли только дурные, прогулки — чёрт знает куда можно зайти, всё перестроили, улицы переименовали, так и домой не вернёшься. А в потном азарте куда только не ездил, в какие дыры не забирался, где только по пути не ночевал, с какими персонажами не пересекался. Поэма! Да не «Москва — Петушки». «Мёртвые души», истинно русская «Одиссея»! Одну из своих лучших вещей случайно в Коломне надыбал. Улица: на каменных подклетах деревянные домики, резные наличники, девятнадцатый век, горяжана — пожалуй, семнадцатый, ещё Ивана Грозного помнят, а Марина Мнишек — вот она здесь в Кремле век свой завершила. Ехал за одним, долго думая, стоит ли такой выделки эта овчинка, напал на другое: любая выделка, овчинка такая, только виду не подавать при торговле, руки чтоб не тряслись, глаза не блестили, потом удачи чтобы владельцу в нос не шибало. Сыграл. Добился. И овладел. Две ночи не спал, ворочался в полудрёме, адреналин изживая. И Вологда, и Владимир, и полустанок на Украине возле венгерской границы, и село под Хабаровском, далее везде, хоть и не всюду удача. Бывало, бивали, и впросак попадал, и обламывался почём зря, и на фальшаки натыкался. Тогда — натыкался. Теперь всё — фальшаки. Да такие, настоящих получше, с вмятинами и царапинами. Всё сделано на ять, всё — искусно. Время фальшаки собирать, и время подлинное под спудом гноить. Ему бы сейчас легенды под эти фальшаки сочинять! Нынешние собиратели интеллектом даже на милицейского лейтенанта не тянут. Эта мысль не дурная, хуже, эта мысль скверная, всю жизнь крест на крест, коту под хвост и прочее в подобном духе до бесконечности, которая ни ему, ни кому не обломится, даже коллекции, которая пойдёт на распыл. Её бы городу не продать — подарить. Но — помещение, штат, бюджет. Кому это надо? Ответ: никому! Когда-то, заглядывая, тогда казалось, в далёкое будущее, заикнулся, поойкал в одно ухо, другое — ничем не аукнулось, только бумерангом вернулось, по носу щёлкнув: какая коллекция, людям есть нечего, вы, господин хороший, о чём? Было время большой, часто жестокой охоты за вещью и друг за другом. Борьба была непростая, уступать никто не хотел. Нередко за охотником, шедшим по следу, шёл другой, выслеживая охотника, который невольно и наводил — опередить, отодвинуть и завладеть, мило через плечо улыбнувшись победно, несмотря на мысль: лучше не надо, подранка злить ни к чему. Но жажда утвердиться на пьедестале, который водружён на спине побеждённого, тому ломая хребет, была выше всякой мысли разумной. Конечно, не добивать. Пусть какая пустяковина обломится и ему. Пусть живёт. Именно живого и препарировать! С мёртвого что возьмешь? Живого! Живого!

Но к чему прошлое ворошить? Не стог сена и нечем. Пусть не разворошённым оста-

нется, убежищем мышам полевым, вечно голодным. Любой скупой рыцарь скажет, что врагов нет ужасней, как ни заделывай щели в полу, чем ни травы, из потусторонности неживой возникают, шурша лапками, зубами остренькими нетленность любую сгрызая. А потом настало время страшно весёлое. Начальник депо горько ошибся, полагая паровоз способным вынести капитальный ремонт. Если бы не он со своей фатальной ошибкой, так весело не было б ещё долго. А может, не очень. Никто никогда не узнает. Это был не кризис возраста или жанра, это совсем был не кризис, но естественное течение разнообразных событий, из которых слагается жизнь, в отличие от Волги, впадающей в какую-то тоскливую неизвестность. Подобно тому, как не принято обсуждать телесные подробности любви, даже в самом тесном и дружелюбном кругу (и такое случалось!) не говорили о деталях поиска, выслеживания и (апофеоз!) обретения. Не говорили, однако многое знали: не только шило и не только в мешке не утаишь. Зато частенько в те давние разговоры как-то сам собой проникал мотив беспокойства, иной сказал бы, отчаяния, конечно, в форме шутливой, весьма ироничной, трубный глас под сурдинку. На что жизнь мы ухлопали, братцы? Стоило ли — того не знаем, не ведаем, другого по-настоящему не попробовали. Вроде и тёртые на льду калачи и уже дошли до самой ручки его, калача, а что внутри, не распробовали. Всё меньше о нынешнем думая, вспоминая всё больше, он обмяк или сдулся, стал занимать меньше места в пространстве, себя из него куда-то внутрь себя помещая. Похоже, коллекция стало просторней, пополнить бы, во внешнем пространстве её размещая. Там раньше решительно не было места: даже собственную не очень обширную плоть бочком перемещать приходилось, чтобы случайно ничего не задеть. Что будет с ним, совершенно понятно: там ли, сям ли зароют, кто-то скажет недолгую речь, если будет кому говорить. Что с коллекцией? Хорошо, вовремя дети приедут, до того, как разграбят, и продадут бог знает кому за деньги чёрт знает какие. Впрочем, это неважно. Так ли, этак, коллекция больше не будет, а она жива исключительно как собрание: по отдельности — ерунда, чепуха, старьё с чердака, со шкафа сто лет назад завалилось, отодвинули — отыскалось. Без неё столько времени жили, раньше времени, кроме тех, кому не повезло, не помирали. Как-то приснилось. Стоит у окна. Ночь лунная тёплая. Из подъезда кто-то выносит мешки. Один за другим. Вынес — вместе с мешком тотчас исчез. И опять та же картина: тень свою вместе с тенью мешка перед собою несёт. Много раз повторялось. Присмотрелся — узнал, это он забавляется, что в мешках, и не открывая, понятно. Отошёл от окна — досыпать. Во сне проснулся: жена рядом в постели, дети проснулись, маленькие ещё, к ним прибежали. Выходные дни, праздник? Во сне непонятно. Просторно в квартире, светло. Даже радостно как-то, словно в детстве в той же квартире, когда под ними был книжный: их пол — книжного потолка, который внезапно, вдруг, бог знает от чего проломился, и всё смешалось: пыль, грохот, извёстка. Но кончился сон не только тот, что во сне, но и тот, в котором приснился. Встал, взял метёлочку — сизифово обихаживать. Впоследствии, чтобы взбодриться, словно чашечку кофе, сон вспоминал, стараясь финал отрубить. Но без осадка кофе ведь не бывает. Никак от финала избавиться не удавалось. Но был и сон повторяющийся, который он ненавидел, стараясь забыть, что никак не получалось. Дверь входная настезь, в комнатах голоса, его нет, всё на разор, нараспашку, гуляй-поле, светлая бездна пространства. Не во сне в комнатах от недостатка живого пространства всегда полумрак, к которому он привык. Так и жил теперь, себя пережив, до себя не дожив, как знаменитую рыбу знаменитый старик, жертву цепляя, тащил, волочил свою жизнь, коллекцию свою, пока они друг друга не пожрут до скелетного безобразия. А ведь в его жизни были эпизоды совсем неплохие, иные — очень достойные, только смонтированы были неаккуратно, иногда совсем неуклюже, как эти две строчки, бог знает как и зачем друг друга нашедшие:

*Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,
О, если б вы знали, как горог...*

И там, и там бывал он не раз, нередко возвращаясь не с пустыми руками. На некоторое время, когда для коллекции третья комната появилась, он вдруг почувствовал себя Фирсом. Но потом очнулся: нет, это Фирса забыли, человека забыли, что неудивительно, он прочно вместе с садом к дому этому прилагался, а его... Похоже, он их забыл. Не то чтоб забыл и не то чтоб отрёкся, а как-то не слишком слёзно прощался. А как могло быть иначе? Самую малую малость, и ту вывезти бы не дали, и пытаться не стоит. Такую цену запросят, что хоть всё продай ради одной-единственной вещи, той, что в Коломне надыбал, и то не хватит: обожравшиеся обрзели, пока не сядут или не сдохнут — шикуют: однова живём, однова! Что ж, такая судьба. Никому не нужен, не интересен, всех интересует коллекция, при которой он вроде сторожа. Старьевщик, как во гневе когда-то его жена называла, к вещам этим прирос, или они к нему намертво прилепились, теперь было неважно. Он среди них, он с ними умрёт, и чей это выбор: его, или их, или кого-то ещё, тоже неважно. Важно одно: он с ними живёт, он с ними умрёт. Гнусное слово. От него бы очистить словарь, как было б прекрасно. Хотя смерть есть смерть, без неё человеку никак, напоминание необходимое. Такое вот дело. Конечно, эту не всегда скромную жизнь можно развернуть в повесть или роман. Только зачем?